# Эпоха лишенная морали

# Жан‑Поль Сартр

Из интервью 1975 года

Я совершенно не интересовался философией, когда учился. У нас был преподаватель по фамилии Шабрие, по прозвищу «Куку‑Фило»; он оказался не в состоянии привить мне любовь к занятиям философией. Эта любовь не возникла у меня и на подготовительных курсах для поступления в Высшую педагогическую школу; мой преподаватель Бернес читал настолько сложно, что я не понимал, что он говорит.

Решение пришло на втором году курсов, после того как появился новый преподаватель, Колонна д'Истрия, уродливый калека очень маленького роста. Среди студентов рассказывали, что он на такси как‑то попал в аварию, и, когда сбежались любопытные, все воскликнули: «Какой ужас!» Но на самом деле он так выглядел от рождения.

Первая тема диссертации, которую он предложил, посоветовав читать Бергсона, звучала так: «Что значит «продолжаться»?» Мне пришлось прочесть «Очерк непосредственных данных сознания»; несомненно, именно эта работа неожиданно пробудила у меня желание заниматься философией. В книге мне встретилось описание того, что было, как я полагал, моей психической жизнью. Я был увлечен предложенной темой, она стала сюжетом моих размышлений. После этого я решил, что буду изучать философию, я предполагал, что она — всего лишь методичное описание внутренних состояний человека, его психической жизни, и что их постижение послужит мне методом и инструментом для создания литературных произведений. Я все еще намеревался писать романы и, может быть, иногда эссе, но при этом хотел стать преподавателем философии, что должно было помочь в работе над литературными сюжетами.

Я хотел интерпретировать свою жизнь — свою внутреннюю жизнь, как я тогда называл ее. Это могло стать основой для произведений, в которых должны были излагаться чисто литературные сюжеты, хотя я и не знал точно, какие именно.

В 1924 году я поступил в Высшую педагогическую школу. Выбор был сделан: я решил, что буду заниматься философией как предметом для получения профессуры. Я рассматривал философию как средство, но не видел в ней области, в которой мог бы совершить что‑нибудь. Конечно, мне казалось, что из философии можно извлечь новые истины, но я был уверен, что они не послужат мне средством общения с другими людьми.

Я рассматривал философию как основу того, что я буду писать, но она представлялась мне как нечто такое, что должно писаться для нее самой, в ней самой. Я вел записи и все такое. Но даже до того как я прочел Бергсона, у меня появился интерес к тому, что я читал, и я принялся записывать «мысли», казавшиеся мне философскими. У меня даже была специальная записная книжка, книжка врача с алфавитом, которую я нашел в метро. Вот в ней я и записывал свои «мысли».

При первом прочтении Бергсона меня поразило то, что я встретил данные, непосредственно относящиеся к сознанию. Уже на первом году обучения у меня был прекрасный преподаватель, который в значительной степени ориентировал меня на изучение самого себя. С тех пор я всегда интересовался всем, что имело отношение к сознанию, к тому, что происходит у нас в голове, как в ней возникают идеи, как появляются и исчезают чувства и так далее. У Бергсона я нашел размышления о длительности, о сознании, о том, что такое состояния сознания, и все это наверняка сильно повлияло на меня. Тем не менее я очень скоро отошел от Бергсона; это произошло уже на подготовительном курсе.

Первая крупная философская работа, подготовленная в 1927 году, была посвящена образу. Почему? Потому что философия для меня была тогда тем же, что и психология. Позднее я избавился от этих представлений. Есть философия, но нет психологии. Она не существует. Психологией называют или пустую болтовню, или попытку понять, что есть человек, основываясь на философских представлениях.

Я рассматриваю себя как философа‑картезианца, по крайней мере в книге «Бытие и ничто».

О философах, которые мне нравились, таких как Декарт или Платон, я прослушал курсы в Сорбонне. Иначе говоря, основное философское образование, которое я получил в эти годы, фактически было образованием школьным. Впрочем, это естественно, поскольку все равно все завершается экзаменом на право преподавания. После этого ты становишься преподавателем философии, и все в порядке.

Помнится, я сделал о Ницше доклад у Бруншвика, на третьем году обучения в Высшей педагогической школе. Ницше интересовал меня наряду со многими другими философами, но его труды никогда не были для меня чем‑то особенно важным.

В «Эмпедокле» мне хотелось показать в романтическом стиле взаимоотношения Ницше, Вагнера и Косимы Вагнер, придав им гораздо более ярко выраженный характер. Я не собирался отражать философию Ницше, мне всего лишь хотелось рассказать о его жизни. Он был другом Вагнера и в то же время был влюблен в Косиму. Фредерика, который стал учащимся Высшей педагогической школы, в конечном счете я идентифицировал с собой, а для остальных персонажей у меня нашлись другие прототипы. Но я так никогда и не закончил этот небольшой роман.

Маркс? Я читал его, но в этот период он не имел для меня никакого значения.

Гегеля я знал по некоторым работам, а также по лекциям, но изучать его я стал гораздо позже, примерно в 1945 году.

Я, конечно, знал, что такое диалектика, уже после Высшей педагогической школы, но не применял ее. Есть места, которые немного напоминают диалектику в «Бытии и ничто», но изложение в целом не носило диалектического характера, и я считал, что ее в этой книге нет. И только начиная с 1945 года...

Я открыл для себя Кьеркегора году в 39‑40‑м. Я и раньше знал, что такой философ существует, но он всегда оставался для меня всего лишь именем. Почему‑то он был мне антипатичен. Наверное, из‑за двух «а»[[1]](#footnote-1). Поэтому мне просто не хотелось читать его.

Чтобы продолжить эту философскую биографию, я должен заметить, что самым важным для меня был реализм, то есть идея, что мир, каким я его вижу, действительно существует и что предметы, которые я воспринимаю своими чувствами, реальны. Этот реализм не сразу нашел у меня достойное отражение, так как, чтобы быть реалистом, нужно одновременно иметь представление о мире и о сознании — именно в этом и заключалась для меня проблема.

Мне показалось, что я нашел решение,— или нечто вроде решения,— у Гуссерля, точнее, в небольшой книге, вышедшей на французском языке, в которой излагались его представления.

Гуссерль считал, что «я» или «эго» — вещь внутренняя по отношению к сознанию, тогда как уже в 1934 году я написал статью «Трансценденция эго», в которой говорилось, что эго есть своего рода квазиобъект сознания и что поэтому существует вне сознания. Эту точку зрения я повторно высказал в «Бытии и Ничто»; я и сейчас придерживаюсь ее, но сейчас этот вопрос не является предметом моих размышлений.

Критики в вопросе об эго придерживаются традиционных представлений. Почему эго должно принадлежать внутреннему миру человека? Если это объект сознания, оно находится снаружи, если же оно находится в сознании, то последнее перестает быть сверхпроницательным; оно вообще перестает сознавать самое себя, чтобы направиться на объект внутри себя. Если сознание находится вне, то внутри него нет ничего.

Вы не являетесь вещью, и в то же время вы объект моего сознания. Именно путем таких рассуждений можно найти смысл понятия «сознание», которое является объективностью в субъекте. Эго — это объект, который приближается к субъективности, но который не находится в ней. Эго не может иметь ничего общего с субъективностью.

Я полагаю, что это факт. В нерефлексивной мысли я никогда не встречаю эго, свое эго, а только эго других. Нерефлексивное сознание абсолютно свободно от эго, которое появляется только в рефлексивном сознании или, скорее, в сознании отраженном, так как отраженное сознание — это уже квазиобъект для сознания рефлексивного. Позади отраженного сознания и находится объект, который называют эго; он подобен чему‑то вроде идентичности, свойственной всем состояниям, возникающим после отраженного сознания.

У меня никогда не было амбиций, относящихся к стилю моих философских произведений. Никогда. Я просто старался писать понятно, вот и все. Мне говорили, что встречаются страницы, весьма неплохо написанные. Возможно. Когда пишешь понятно, то само собой получается, что пишешь хорошо.

Стиль — это прежде всего экономия; речь идет о том, чтобы в ваших фразах сосуществовали разные смыслы, чтобы слова в них принимались не за концепции, а скорее за аллюзии, за объекты. В философии слово должно означать концепцию, и только концепцию. Стиль — это определенные взаимоотношения между словами, которые приводят к возникновению смысла, смысла, который нельзя получить простым добавлением одних слов к другим.

В моей философской мысли была эволюция, но я не думаю, что был какой‑то перелом или разрыв. Существенные изменения в моей мысли появились в связи с войной: 1939‑1940 гг., Оккупация, Сопротивление, освобождение Парижа... Все это заставило меня перейти от мысли классической философии к мысли, в которой тесно связаны философия и действие, теория и практика: это были мысли Маркса, Кьеркегора, Ницше, других философов, исходя из работ которых можно понять мысль XX века.

С Фрейдом я был знаком в общих чертах начиная со времени моих школьных занятий философией. Потом я прочитал несколько его книг; помню, что «Психопатологию обыденной жизни» прочел на первом году учебы в Высшей педагогической школе, затем «Толкование сновидений» перед ее окончанием. Но Фрейд раздражал меня, потому что примеры, которые он приводит в «Психопатологии», слишком далеки от рациональной и картезианской мысли. Я говорил об этом в интервью, которое дал «New Left Review». Позднее, на протяжении нескольких лет профессората я углубил доктрину Фрейда, впрочем, всегда отличаясь от него подходом к идее бессознательного. Около 1958 года Джон Хастон пригласил меня участвовать в работе над кинофильмом о Фрейде; это была неудачная идея, поскольку нельзя выбирать того, кто не верит в бессознательное, для создания фильма, прославляющего Фрейда.

Я никогда не говорил, что меняюсь каждые 5 лет. Наоборот, я думаю, что развивался последовательно, начиная с «Тошноты» вплоть до «Критики диалектического разума». Моим крупным открытием во время войны было определение роли социальной сферы; ведь быть солдатом на фронте означает быть поистине жертвой общества, которое держит вас там, где вы не хотите находиться, и которое навязывает вам законы, которые вам не нравятся. Понятия общественного еще нет в «Тошноте», хотя оно кое‑где все же просматривается.

Если и есть что‑нибудь неудачное в «Бытии и ничто», то это чисто социальные главы, в которых идет речь о «нас» в отличие от глав о «тебе».

Я хотел, чтобы моя мысль относилась к существу. Думаю, что идея онтологии зародилась в моей голове благодаря философской подготовке, благодаря лекциям, которые я прослушал. Философия задается вопросами о существе и о существах... Любую мысль, которая не завершается вопросом о существе, нельзя назвать стоящей.

Я не думаю, что мысль венских философов и тех, кто близок к ним, является стоящей мыслью и что впоследствии она может дать хорошие результаты. Нужно исходить из существа или приходить к нему, как это делает Хайдеггер. В любом случае необходимо, чтобы речь обязательно шла о существе. Это приводит к более детальным мыслям о текущих проблемах философии.

Действительно, чем я отличаюсь от марксиста, что определяет мое превосходство над марксистами, так это постановка вопроса о классах, социального вопроса, и я делаю это исходя из личности, выходящей за классовые рамки, поскольку тогда этот подход применим также к животным и к неодушевленным предметам. Основываясь на этом, можно начать задавать вопросы о классах; я убежден в этом.

Если эстетика и есть у меня (а она у меня есть в некоторой степени), то она полностью находится в том, что я написал, и ее там можно обнаружить. Я никогда не считал, что проблемы эстетики стоит разрабатывать так, как это сделал Гегель.

Язык нужно изучать внутри какой‑нибудь философии, но он не может являться основой для создания самостоятельной философии. Полагаю, что из моей философии можно извлечь философию языка, но нет такой философии языка, которую можно было бы языку навязать.

Литература как средство общения?

Я и не вижу, чем другим она могла бы быть. Никто никогда не пишет или, скорее, не публикует ничего, что не предназначалось бы для кого‑нибудь другого.

Роль философа заключается в том, чтобы продемонстрировать метод, метод видения мира на основе онтологии.

Сначала я не был диалектиком, и только около 1945 года я вплотную начал заниматься этой проблемой. Достаточно глубоко я погрузился в диалектику, начиная со «Святого Жене»; думаю, что «Критика» действительно является диалектической работой. Теперь желающие могут развлекаться, стараясь показать, что уже в самом начале я был диалектиком, не зная об этом. Но таким же образом можно доказать, что Бергсон был бергсонианцем уже в шестилетнем возрасте, когда уплетал булку с вареньем.

Существуют различные виды синтеза. Во всяком случае есть частный синтез; я показал это в «Критике диалектического разума».

Отрицаю ли возможность абсолютного синтеза? Да, отрицаю. Но не синтеза, к примеру, какой‑либо эпохи. Наша эпоха сама является собственным синтезом; именно это я и хотел объяснить во втором томе «Критики». Очевидно, что следовало превзойти тот вид синтеза, который я использовал в первом томе, чтобы перейти к синтезу, относящемуся или к тебе самому, или к другим. Каждый из нас может в любой момент выполнить синтез. Например, если я могу выполнить синтез для вас троих и вставить в него каким‑то образом самого себя, то и вы можете проделать то же самое. Но эти виды синтеза не достигают уровня синтеза совокупности, и не существует человека, который мог бы его проделать. Если бы вас было шестеро, я мог бы продолжить синтез, но будь вас тысяча, то такая попытка не имела бы смысла. Так что нужно искать другие подходы для выполнения синтеза подобного рода.

Сознание каждого из нас является синтезом того, что он видит. Я сейчас являюсь синтезом по отношению к тому, что вижу... Но я не являюсь синтезом по отношению к тому, что происходит сейчас на улице и чего я не могу видеть. Поскольку я верю только в сознание индивидуальное и не верю в коллективное, для меня не представляется возможным дать как пример исторического синтеза коллективное сознание.

«Критика диалектического разума» против коммунистов, это очевидно. Но в то время я пользовался термином «марксизм» слишком легко. Я тогда действительно рассматривал «Критику»

как произведение, написанное в духе марксизма, я был убежден в этом. Но когда я вернулся к этому вопросу позднее, то решил, что хотя «Критика» и приближается в некоторых своих аспектах к отдельным положениям марксизма, назвать ее марксистской нельзя.

Я сохранил различие между философией и идеологией, но отношения между ними — это очень трудный вопрос. Идеология — это не философия, сложная и продуманная, это совокупность идей, которая лежит в основе отчужденных от нее действий и которая отражает их. Она никогда не была окончательно разработана и объяснена, но она проявляется в господствующих идеях данной эпохи или данного общества. Идеологи всегда представляют власть и очень активны. Философы объединяются, выступая против идеологии, хотя и отражают ее в определенной степени, сначала критикуя ее, затем оставляя далеко позади. Отметим, что сейчас идеология используется именно теми, кто заявляет, что нужно положить конец идеологии.

Экзистенциализм не может включаться в марксизм, если учесть мои идеи о свободе, так как это, в конечном счете, самостоятельная философия.

В конце концов я не думаю, что эта философия является марксистской. Она не может игнорировать марксизм, так как связана с ним таким же образом, как некоторые другие философии могут быть связаны одна с другой, не являясь их составной частью, но сегодня я не рассматриваю экзистенциализм как марксистскую философию.

Я думаю, что сейчас мы присутствуем при закате марксизма и что в ближайшем будущем марксизм будет иметь иной вид по сравнению с тем, что он представляет сегодня...

Я имею в виду марксизм, применявшийся на практике, но он одновременно использовался и в теоретическом плане. Начиная с Маркса марксизм жил своей жизнью и одновременно старился. Теперь мы находимся на этапе, когда старение должно завершиться смертью. Это не означает, что основные понятия марксизма исчезнут вместе с ним. Наоборот, они будут восприняты и использованы. Но сохранение марксизма сегодня потребует очень больших усилий.

Чтобы быть кратким, скажу только, что анализ национального и международного капитализма в 1848 году не имеет ни малейшего отношения к капитализму сегодняшнему. Необходимо ввести новое понятие, которое Маркс не мог предвидеть и которое не является марксистским в классическом понимании.

В своем понимании против марксизма я заодно с теми, кто называет себя маоистами, с членами левого пролетарского движения, вместе с которыми я руководил изданием «Народного дела». Сначала они были марксистами, но потом прошли тот же путь, что пришлось преодолеть мне. Они сейчас уже не марксисты или марксисты в гораздо меньшей степени, чем раньше. Например, Пьер Виктор, с которым я работал над серией телепередач, перестал быть марксистом; можно сказать, что он, по крайней мере, видит конец марксизма.

Но я ни в коей мере не являюсь маоистом. Впрочем, этот термин ничего не означает. О Мао очень мало говорили в то время, когда я писал «Бытие и ничто». Конечно, для членов определенных группировок это слово имеет смысл, хотя и весьма расплывчатый. Они воображали, что некоторые формы социалистического устройства, какие можно было видеть (или считалось, что можно было видеть) в Китае, должны быть применены у нас. Эти группировки уже были маоистскими даже в то время, когда портреты Мао еще не появлялись на страницах «Народного дела», но они перестали быть маоистскими, когда портрет Мао стал мелькать повсюду.

Философия свободы, которая рождается на наших глазах, будет философией того же плана, что и марксизм, то есть смесью теории и практики, философией, в которой теория служит практике, но которая принимает в качестве отправного момента свободу. Именно ее, как мне кажется, недостает в марксистской теории.

Термин анархистов «либертарианский социализм» я использую потому, что мне нравится напоминать о несколько анархистских истоках моей мысли. Я всегда был согласен с анархистами, единственными, кто разработал идею совершенного человека, рождающегося в результате социальных процессов, человека, главной особенностью которого будет свобода. Но в вопросах политики анархисты довольно примитивны.

Да и в вопросах теории, при условии, что речь идет строго о теории, и в стороне остаются их выдающиеся интуитивные находки, такие как идеи о свободе и цельном человеке. Иногда они пытались реализовать свои интуитивные идеи; так, они жили сообществом, создав коммуну на Корсике в 1910 году.

Меня назвали экзистенциалистом, и я согласился с этим. Но я не сам выбирал это определение.

Я знаю, что у животных есть сознание, потому что смогу понять их поведение, только допустив наличие у них сознания. Каково же это сознание, что это за сознание, не имеющее языка? Я ничего не знаю о сознании животных. Может быть, в этом удастся разобраться позднее, но предварительно нужно будет больше узнать о сознании вообще.

Все, что говорится о животных, об их психологии, в целом глупо или, по крайней мере, совершенно не связано с нашими познаниями, относящимися к сознанию. Психологию животных нужно разрабатывать заново. Но пока очень трудно сказать, на какой основе это делать.

Я не думаю, что жизнь и сознание — это синонимы. Нет, для меня сознание имеется там, где оно заметно, и есть животные, которые его не имеют, например, простейшие. Сознание появляется в животном мире в определенный момент, оно появляется у человека и, несомненно, у обезьян. Но как оно появляется, и каково оно?

Идеи приходят таким образом: сначала возникает неотчетливая, ничем не подтвержденная мысль, потом ты пытаешься уточнить ее, разработать функции. В итоге ты приходишь к понятию сознания, которое уже не является чистым сознанием‑чувством, существовавшим первоначально. Так что сначала появляется то, что я называю не знанием, а интуицией, и настоящее знание в определенном смысле радикально отличается от того, что может дать эта первичная интуиция. Знание уточняет характеристики вещей, которые не были ранее уточнены; знание развивает другие характеристики, отбрасывает некоторые из тех, которые ранее казались очевидными. Конечно, оно сохраняет некоторую связь с первичной интуицией, но это разные вещи.

Я действительно антиприродный философ, но только в определенном смысле. Я знаю, что сначала была природа, которая непосредственно влияла на человека. Несомненно, что примитивные люди имели непосредственные реальные отношения с природой, подобно орангутангу или муравьям. Эти отношения все еще существуют и в наши дни, но они подавляются другими отношениями, которые уже не носят материального характера или, по крайней мере, в которых природа играет иную роль.

Скудость[[2]](#footnote-2) — это не онтологическое понятие, но это и не простое человеческое понятие, не эмпирическая констатация. Понятие «скудость» тяготеет к онтологии, но само не является онтологическим, так как люди, которых мы видим вокруг, не подходят для чисто онтологического изучения или для изучения в плане частных абстрактных идей, как это делают философы или специалисты по частной онтологии. Подобные понятия нужно изучать эмпирически, такими, какие они есть. И в этом случае можно констатировать, что человек буквально окружен нехваткой, будь это игрушка, которую не может получить ребенок, или продукты питания, которые требуются для той или иной группы людей и которые они не получают в нужном количестве. В любом случае есть разница между спросом и предложением, возникающая из самой человеческой природы, когда человек упорно требует еще и еще в условиях ограниченного предложения.

Мы живем в мире скудости, и только время от времени можно представить достижение изобилия при условии, если человек сумеет изменить свои естественные потребности. Не получая того, что нужно ему в одной сфере, человек переносит свои желания в другую сферу. Но в любом случае именно понятие скудости лежит в основе данной концепции.

Скудость всегда есть следствие социального угнетения. Но есть нехватка, которая получается просто от соотношения потребностей человека с получаемым количеством требуемого. Конечно, я имею в виду свободно выраженные потребности, на которые никто не оказал влияния.

В первоначальном смысле объективный недостаток чего‑либо это и есть скудость. Желание, воля, необходимость использовать те или иные предметы создают потребность, которая иногда может оказаться неограниченной, в то время как требуемый предмет содержится в ограниченном количестве на данной территории или на всем земном шаре. Следовательно, для меня скудость есть феномен существования, человеческий феномен; естественно, наибольшая нехватка проистекает из социального угнетения. Но в основе последнего всегда находится скудость; мы постоянно создаем вокруг себя поле скудости.

У меня никогда не было морали безразличия. Если что и делает выполнение требований морали затруднительным, то это могут быть конкретные, часто политические проблемы, которые нужно решать. Как я уже говорил в «Святом Жене», я считаю, что в настоящее время мы не достигли такого состояния, наши знания не являются таковыми, чтобы мы могли реконструировать мораль того же уровня ценности, как мораль прежних времен. Например, нельзя создать мораль в соответствии с планом Канта, которая имела бы ту же ценность, что и собственно кантовская мораль. И дело здесь в том, что моральные категории зависят главным образом от структуры общества, в котором мы живем, и эти структуры одновременно не являются ни слишком простыми, ни достаточно сложными, чтобы мы могли создать концепции морали. Мы живем в эпоху, лишенную морали, или, если хотите, когда мораль существует, но она или испорчена, или носит частный характер. Так было не всегда, но сегодня мы столкнулись с этим. Так будет тоже не всегда, но современное положение вещей именно таково. Говоря это, я не отказываюсь от убеждения, что мораль человеку нужна.

Как философ Мерло‑Понти всегда обращается к такому типу существа, для анализа которого он вынужден призывать на помощь Хайдеггера; я никогда не считал приемлемыми подобные вещи. Вся онтология, которая вытекает из философии Мерло‑Понти, отличается от моей: это гораздо в большей степени континуизм. Я не являюсь настолько континуистом: мне достаточно понятий «в себе», «для себя» и некоторых промежуточных форм, о которых мы только что говорили. У Мерло‑Понти идет речь об отношениях с существом, которое коренным образом отличается от моего. Я писал об этом в работе «Живой Мерло‑Понти».

Когда мне было 17 или 18 лет, мне всегда твердили, что из критики можно узнать очень много. И я приехал в Париж с хорошими, дисциплинированными, разумными мыслями на эту тему. Я читал критиков, думая: «Чему же они меня научат?» Но они ничему не могли научить меня.

Мысли других философов меня никогда не могли заставить пересмотреть мои идеи. Возможно, я отношусь к упрямым, одержимым философам. Я много читал и видел, что сказать о прочитанном можно многое, а затем я все равно продолжал делать то, что делал раньше.

Я обычно не требую от читателя прочесть у меня все, но критики‑специалисты должны находить для этого время. Затем необходимо изложить содержание произведения, решить, распространяется ли точка зрения его автора на всю жизнь или она меняется где‑то посередине, попытаться объяснить эволюцию взглядов, разрывы в последовательности мысли, постараться отыскать исходную позицию, что является самым трудным: что я хотел сказать, написав то или иное произведение, почему я решил написать его?

В этом, мне кажется, и заключается смысл критики. Вот книги, вот человек, который написал их. Что это значит? Что это за человек, какие книги он написал? Эстетическая точка зрения представляется мне весьма изменчивой, и именно этот аспект интересен для меня.

Сейчас сообщают гораздо меньше подробностей о жизни людей, о них знают гораздо меньше, чем о людях прошлого века, потому что проблемы сексуальности, проблемы жизни стали глубоко индивидуальными и практически исчезли для посторонних. Например, все, что мы знаем о Солженицыне, относится, в конце концов, ко всей России. Известно, что он был сослан в лагерь; тут же мы начинаем размышлять о лагерях, вспоминаем, что это такое и т.д. Но что касается его привычек — любил ли он кофе? Какова его сексуальность? Все это — полнейшая тайна. Возможно, когда‑нибудь удастся по его книгам восстановить некоторые детали его жизни, но нужно, чтобы этим кто‑нибудь занялся.

На самом деле все это не скрыто. Я думаю, что мое отношение к кофе и моя сексуальность находятся в моих книгах, Нужно только найти эти сведения, а это дело критиков. Иначе говоря, критики должны по книгам и только по ним, добавляя, конечно, переписку, установить, что за человек написал эти книги, определить направления его мысли, выяснить, каких доктрин он придерживался...

Это должна быть литературная биография, в ней нужно показать человека со всеми его вкусами и принципами, с его литературной эстетикой... и все это должно быть установлено по его книгам. Вот такой, как мне кажется, должна быть работа критиков.

Я читал профессорский курс, курс ex cathedra, как это называют, но я постоянно прерывался, чтобы задать вопрос или чтобы ответить на заданный мне вопрос. Я полагал, что преподавание не заключается в том, чтобы заставить одного господина говорить перед молодыми людьми; он должен спорить с ними о конкретных проблемах. Когда кто‑нибудь из студентов говорил мне: «Это просто идиот. Он твердит одно, а я однажды пережил нечто совсем другое», я должен был объяснить ему, что на любую вещь, на любое явление можно взглянуть с разных сторон.

Надо сказать, что я занимался с моими учениками не только философией, но и многим другим, даже боксом, и это очень помогало найти общий язык. Много времени уходило на то, чтобы извлекать на божий свет идеи, которые находились в их головах.

Я знал реакцию моих коллег, инспекторов, всех этих типов. И потом, я разрешал моим ученикам курить в классе, на что тогда смотрели очень косо.

Я думаю, что философия может преподаваться с начальных классов, конечно, в небольшом объеме, чтобы ученики представляли взгляды основных авторов. Для этого достаточно, к примеру, трех часов в неделю.

Для меня философия — это все. Заниматься философией для меня значит жить. Я живу в философии, но это не значит, что я всегда веду себя, как правоверный философ, но мое восприятие — это всегда философское восприятие, даже когда я смотрю вот на эту лампу или на вас. Я убежден, что философия — это способ человеческого существования. Поэтому я считаю, что ее нужно начинать преподавать как можно раньше и без громких слов.

1. Фамилия датского философа Серена Кьеркегора (1813‑1855) во французском языке пишется как «Kierkegaard». (Прим. Пер.) [↑](#footnote-ref-1)
2. В оригинальном переводе «редкость». Это на самом деле является дословным переводом французского слова «rarete», но не отражает того содержания, которое в него вкладывает в него Сартр. По этой причине мы заменяем его на «скудость», другим вариантом перевода может являться «нехватка». (Webmaster — Latur) [↑](#footnote-ref-2)